

ПРАВО, ВЛАСТЬ И ВЕРА В ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Дмитрий Горин

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

ORCID: 0000-0003-4235-7254

<https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.02.00005>

Аннотация. Роль права в постсоветской трансформации российского общества рассматривается в контексте анализа противоречивых тенденций, связанных как с продвижением к принципам правового государства, так и с откатными процессами демодернизации, авторитарной консолидации власти и сворачивания публичной политической конкуренции. Автор исходит из тезиса о том, что отношения между сферой правовой регуляции и ускользающими от нее внеправовыми основаниями власти представляют собой проявление длительного процесса эволюции сложившейся культурно-нормативной системы. Эта система характеризуется противоречиями между декларируемыми нормами и реальной практикой, а также наличием непубличных договоренностей и правил, в том числе позволяющих обходить установленные законодательством нормы. Разрешение этих противоречий основывается на обеспечении возможности власти переключать режимы функционирования норм, задающих различные и иногда несовместимые модели регуляции. Религиозные предпосылки сложившейся культурно-нормативной системы рассматриваются в контексте характерных для российской культуры тенденций концентрации признаков сакральности в обосновании преимущественно власти, а не права. Однако дискурсы духовности, связанные с отстаиванием «традиционных ценностей» и критикой фундаментальных прав и свобод, по мнению автора, представляют собой следствие актуального идейно-политического обоснования тенденций демодернизации, апеллирующего не к религии, а к политической целесообразности. На основании предпринятого анализа автор приходит к выводу о сочетании в современном российском обществе представлений о праве и правовом государстве с несформированностью соответствующего этим представлениям общественного порядка, что сохраняет разнообразные возможности дальнейшего общественно-политического развития.

Ключевые слова: право, правовое государство, власть, религия, неформальные нормы, демодернизация, социальная трансформация

Введение

Одним из важнейших вопросов социально-философских исследований права, призванных, по словам М. Гурвича, соотносить юридический опыт с многообразными формами иного интегрального опыта (Gurvich 2004: 279), является вопрос о том, может ли правовое государство быть обосновано своей собственной рациональностью, или для его утверждения требуются некоторые моральные и практические предпосылки, связанные, в том числе, с дополитическими культурными основаниями.

Это относится и к исследованиям проблематики реализации принципов правового государства в постсоветской трансформации России. Если на рубеже 1980 – 1990-х гг. ее развитие связывалось с необходимостью построения правового государства и обеспечением демократического транзита, то в последующие годы наблюдаются признаки отхода от идеалов правового государства и распространения внеправовых проявлений власти и теневых общественных практик. Негативные изменения в сфере верховенства права фиксируются количественно (Zaostrovstev 2009) и становятся предметом анализа в различных исследовательских перспективах. Однако вопрос о том, насколько эти изменения предreshены сознательным политическим выбором, сложившимся балансом сил или колеей предшествующего развития, требует дальнейших исследований.

Анализ указанной проблематики основывается в данной статье на предположении о том, что такая эволюция стала следствием не только трансформации последних десятилетий, но и формировавшихся на протяжении длительного времени характерных для российской культуры предпосылок соотношения права, власти и веры, определяющих ограничения и особенности, которыми обусловлены дискурсы о правовом государстве, представления о нормах права и отклонениях от них в реальной практике. Укреплению правовой культуры и правовых оснований российской государственности препятствовала трансформация достаточно сложной культурно-нормативной системы советского общества. Эта система включала в себя как минимум три уровня: во-первых, формальные официальные нормы, демонстрируемые публично в качестве универсальных; во-вторых, формальные неофициальные непубличные нормы, характерные для групп, причастных к властным позициям и детально регламентирующие не только профессиональное, но и внепрофессиональное поведение; в-третьих, неформальные нормы, включая нормы поведения в узком кругу (Radayev & Shkaratan 1996: 61). Характерные для постсоветской трансформации тенденции, связанные с расширением действия непубличных договоренностей, включая неформальные нормы, регулирующие возможности избирательного применения законодательства, препятствовали интеграции интересов, направленных на укрепление принципов правового государства.

Рассматривая соотношение формальных и неформальных норм в институционализации общества, Дуглас Норт отмечал, что неформальные нормы, оказывающие существенное влияние на функционирование формальных предписаний, «возникают из информации, передаваемой посредством социальных механизмов, и являются частью того наследия, которое мы называем культурой»

(North 1997: 57). Поэтому исследование особенностей правовых аспектов постсоветской трансформации российского общества требует рассмотрения их в тесной взаимосвязи с эволюцией не только государственно-властных отношений, но и культуры, включая идейно-политическую сферу и трансформацию религиозных традиций.

Правопорядок в обществе, формальные институты, структуры и нормы, в которых он проявляется, как доказывал Гарольд Берман, имеют существенные связи с «фундаментальными воззрениями человека относительно смысла своей жизни и конечной цели истории, то есть с верой» (Berman 2008: 9). Взаимодействие права и веры он рассматривал в проявлении таких общих для них элементов, как ритуал, традиция, авторитетность и универсальность, которые обеспечивают выходящий за пределы рационального контекст формирования правовых норм (Там же: 19–25). В анализе взаимодействия веры, права и власти речь может идти не только о религиозном обосновании духовно-нравственных ценностей и о трансформации религиозности в секулярные версии «гражданских религий» или «политических религий», которые, разумеется, оказывают существенное влияние на поддержание духовно-нравственных оснований права и государственности. Применительно к современному российскому обществу эти вопросы исследуются, включая актуализацию проблемы духовных предпосылок права и интеграции соответствующих ценностей в действующее законодательство (Mal'tsev 2008; Lukasheva 2013). Однако более фундаментальным аспектом проявления обозначенной проблематики является характерное для трансформации той или иной религиозной традиции соотношение сакрального и профанного, сохраняющее свое влияние в современной культуре, в том числе, секулярной. Наряду с анализом фундаментальных религиозно-духовных предпосылок права и власти интерес представляет анализ их современной идейно-политической переинтерпретации, которая в российском обществе проявляется в характерных дискурсах духовности, в значительной степени вызванных необходимостью стабилизации сложившегося порядка и обоснованием традиционалистской альтернативы идеалу правового государства.

Идел правового государства в постсоветской трансформации: возможности и ограничения

Постсоветская трансформация представляет собой сложный процесс, сочетающий в себе разновекторные тенденции, связанные не только с разрушением старых институтов и созданием новых, но и с оптимизацией функционирования государства, необходимостью снятия наиболее опасных противоречий и балансированием интересов различных групп. В этих условиях наблюдается неизбежная корректировка долгосрочных целей трансформации под влиянием актуальных задач поддержания стабильности системы. Ограничение возможностей права в условиях трансформации российского общества проявляется на трех основных уровнях: во-первых, на уровне самого права, подверженного существенным изменениям и в этой связи характеризующегося внутренней противоречивостью; во-вторых, на уровне

рассогласования между требованием закона и состоянием правоприменительных и правозащитных органов; и, в третьих, на уровне расхождения между законом и конкретной экономической или политической ситуацией, которая в 1990-е гг. характеризовалась повышенной динамичностью (Rybakov 2020: 550). Тем не менее в условиях такой подвижности и неопределенности в траекториях развития российского общества на рубеже 1980–90-х гг. появилось «окно возможностей» для построения правового государства.

Идея правового государства, основанного на приоритете фундаментальных прав и свобод, принципе ограничения власти конституционно-правовыми нормами и процедурами, обеспечении независимости суда, артикулировалась не только в политической публицистике (Aron 2017: 291–308) и в публичных выступлениях руководителей государства (Gorbachev 1988: 105–110), но и находила свое, пусть и частичное, воплощение в законотворческом процессе и практике государственного управления. В Конституции СССР и РСФСР были введены нормы, закрепляющие отказ от однопартийной системы, разделение властей, расширение полномочий законодательной власти. Была провозглашена необходимость направить законотворческий процесс на защиту граждан от произвола органов власти, гарантию их прав и свобод. Избранный Первым Съездом народных депутатов Верховный Совет СССР принял пакет законов, устанавливающих процедуры оспаривания действий органов государственной власти и должностных лиц в суде. Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., утверждает приоритет фундаментальных прав и свобод и содержит ряд принципиальных положений, которые должны были гарантировать разделение властей, политическую конкуренцию, идеологический плюрализм. Российское законодательство было направлено на реализацию прав и свобод граждан в различных сферах (интерес в этом смысле представляет ряд законов, принятых в первой половине и середине 1990-х гг., когда Россия вступает в Совет Европы).

Переход к рыночной экономике также рассматривался с точки зрения построения правового государства, в котором экономическая система работает не на обеспечение приоритета государственных интересов над интересами личности, а наоборот. Частная собственность воспринималась как инструмент разрушения этатрагической системы и создания слоя граждан, обретающих независимую от государства экономическую самостоятельность. Становление правового государства предполагало также необходимость подвергнуть государственную власть демифологизации и десакрализации, лишить ее ореола таинственности и недоступности, поставить ее под контроль представительных институтов и институтов гражданского общества, прежде всего в сфере обеспечения фундаментальных прав и свобод граждан.

Однако при сохранении видимой преемственности власти в постсоветской России тенденции реформирования государственности привели не к утверждению принципов правового государства, а к становлению авторитаризма. Введение формальных норм, декларирующих и реализующих принципы правового государства, не могли принудить реальные отношения к тому, чтобы они уложились в эти формы и

соответствовали им. Слабость институциональных оснований государства, внеправовое разрешение острых политических конфликтов (например, политический кризис осени 1993 г., военные действия в Чечне), теневой характер политической борьбы между кланами и характер передачи власти в 1999 г. препятствовали продвижению к принципам правового государства. Конституционные нормы, обеспечивающие верховенства права, не обрели устойчивой опоры в виде структуры общественных интересов, морального согласия, массовых представлений и были подчинены интересам властвующих групп посредством управляемого и зависимого от исполнительной власти суда (Gudkov & Dubin 2007: 23). В результате в российской правовой системе произошли существенные разрывы между возможностью и действительностью, ведущие к тому, что «право есть, а блага нет, закон действует, а цели его не достигаются» (Matuzov & Ushanova 2010: 152).

Действительный, а не декларативный переход к правовому государству в условиях постсоветской трансформации был сопряжен с существенными для правящих элитных групп рисками, связанными с потерей не только власти, но и собственности. Артикуляция интересов заинтересованных в продвижении к правовому государству социальных групп и слоев была недостаточной, эти интересы остаются рассогласованными и в современной России. Властвующие элитные группы все более очевидно опираются на силовые инструменты, компенсируя недостаточный уровень легитимности и фактически осуществляя демодернизационную «игру на понижение», которая предопределяется недостаточностью ресурсов для целенаправленного изменения социальной структуры и обеспечения перехода к правовому государству. Архаизации институтов и усилению силовой составляющей в осуществлении власти в целях обеспечения стабилизации политического режима способствовал непубличный характер разрешения противоречий внутри правящих элитных групп, между ними и обществом, центром и периферией. Сворачивание публичной политической конкуренции сопровождалось выстраиванием системы неофициальных и неформальных договоренностей в реализации политической власти, что привело к необходимости обеспечения контроля над оппозицией и протестными настроениями, требующего все более жестких мер.

Логика такой эволюции вписывается в общую логику развития большинства постсоветских стран, в ряде из которых наблюдается циклический процесс институционального строительства с неустойчивым исходом, выраженный в чередовании периодов нестабильности, связанной с расколом элит, и периодов авторитарной консолидации власти (Hale 2005). В России период конкуренции элит и политической нестабильности 1990-х соотносится с более очевидным обращением к правовым процедурам разрешения существующих противоречий (при всей противоречивости такого обращения в условиях постсоветской трансформации), а последующая затем авторитарная консолидация власти основывается на инструментализации законодательства, которое служит политической целесообразности. Несмотря на заложенный в Конституции РФ 1993 г. широкий объем полномочий президентской власти при слабых сдержках и противовесах, в 1990-е годы властью была избрана стратегия не подавления конкурирующих элитных групп, в том числе, региональных, а кооперации с ними. Такая кооперация включала

как практику двусторонних договоров субъектов федерации с федеральным центром, так и неформальные «картельные соглашения». Эффективность этой стратегии проявилась, например, на президентских выборах 1996 г. С 2000-х годов консолидация власти основывается на постепенном подчинении конкурирующих элитных групп, подавлении протестного потенциала, который они способны мобилизовать, и блокировании публичной политической конкуренции.

Политическая стабилизация в первом десятилетии XXI в. проходила под лозунгом «диктатуры закона», что предполагало устранение противоречий между федеральным и региональным законодательством и консолидацию власти. Однако общественный запрос на порядок в условиях социально-экономической и политической нестабильности 1990-х и низкий уровень правовой культуры не позволили акцентировать внимание общества на необходимости последовательного осуществления принципа верховенства права. Укрепление вертикали власти и установление контроля над публичной политикой не привели к обретению прозрачных и устойчивых правил игры и способствовали созданию манипулятивной среды, в которой наблюдаются признаки так называемого «режима ручного управления», основанного на возможности изменения или преодоления субъектом власти формальных нормативно-правовых ограничений. В условиях, когда социальная неоднородность и разнообразные интересы российского общества не имеют возможности проявить себя в публичной сфере и институтах политического представительства, наблюдается заметное ухудшение качества законотворческого процесса. Последнее проявляется, в частности, в увеличении числа принятых законов при ухудшении их проработанности, нарушении принципа устойчивости законодательства, которое становится конъюнктурным, а также в практике избирательного применения принятых норм.

В этом процессе обращает на себя внимание эволюция общественных настроений: если авторитарной консолидации власти предшествовал нараставший в 1990-е годы общественный запрос на порядок и твердую власть, то в последние несколько лет наблюдается потребность в защите прав и свобод граждан, процедурной справедливости и ограничении власти. Об этой эволюции свидетельствуют, в частности, проявления гражданской самоорганизации в целях защиты прав граждан и интересов различных сообществ, связанных, в том числе, с экологической проблематикой и градостроительной политикой. Гражданский активизм направляется на легальное использование существующих институтов в борьбе за их изменения (Volkov & Kolesnikov 2016: 7, 12). Эти тенденции, способствуют созданию инфраструктуры общественного участия и формированию общественного запроса на продвижение к правовому государству, который, однако, остается фрагментированным.

Указанные тенденции согласуются с достаточно длительными для российской истории процессами, которые привели к своеобразному «многолинейному институционализму», отражающему противоречивые проявления институтов как западного, так и восточного типов (Braslavsky 2010: 24), описание которых восходит к марксистской модели азиатского способа производства, веберовской концепции

патримониального типа господства, позже дополненных моделью редистрибутивной экономики Карла Поланьи. В этом контексте в анализе постсоветской трансформации принципиальным оказывается соотношение институтов власти и собственности, с характерным для нее воспроизведением феноменов «власти-собственности» (Nureyev & Runov 2002), «этакратизма» (Shkaratan 2004), «раздаточной экономики» (Bessonova 2006). Развитие горизонтальной самоорганизации от вечевой традиции до современных форм представительной демократии традиционно вытеснялось из сферы легитимации власти в локальные или даже маргинальные и теневые сферы.

«Диктатура закона» и внеправовые основания власти

Если в правовом государстве закон не только регламентирует поведение граждан, но и ограничивает действия власти, ставя пределы тем санкциям, которые могут быть применены к нарушителю, то в российских условиях ситуативного обращения к противоречивым нормам и практикам правоприменения власть стремится избегать такого самоограничения. Это проявляется в феномене «диктатуры закона», сложившемся в России в последние десятилетия. На рубеже 1999–2000 гг. лозунг «диктатуры закона» отражал запрос общества на порядок и трактовался в логике консолидации власти и укрепления законности. Однако в последующие годы стали более очевидными те его коннотации, которые состоят в присвоении властвующей элитой контроля над законотворческим процессом и его использовании в качестве инструмента политического давления. Принцип верховенства права, лежащий в основании идеи правового государства, обретает в этом контексте черты формалистского подхода, согласно которому любые действия представителя власти, разрешенные законом, объявляются соответствующими ему. В результате принцип верховенства права отождествляется с принципом управления на основе законодательства («rule by the law» вместо «the rule of law»).

Достижение бесконкурентной концентрации вертикали власти в постсоветской России основывается на выхолащивании правовых процедур (примеры постепенного превращения новых институтов в имитационные не ограничиваются лишь эволюцией принципа разделения властей, институтов суда, парламентаризма, выборов, местного самоуправления). Этот процесс сопровождается избыточным обращением к полицейско-бюрократическим методам управления (Neretina 2013: 131). Силовой характер современной власти обретает формы законотворческого произвола, выражающегося как в нарастании давления запретительных норм в различных сферах общества, так и в размытости этих норм, открывающей возможность их избирательного применения (среди законодательных новаций 2020–2021 гг. можно назвать ужесточение и размытие уголовной нормы о клевете, введение нормы о физических лицах, выполняющих функции «иностранный агент», изменения в мемориальном законодательстве, а также тенденцию расширительного толкования законодательства об экстремизме).

Интеграция российского общества, характеризующегося не только территориальной разнородностью, но и слабостью горизонтальных связей, основывалась, как правило, на централизации власти и блокировании активности

периферийных групп, которые поддерживались в состоянии разобщенности. «Российский режим отличался едва ли не самым низким уровнем автономного доступа и воздействия периферии на центр. В то же время центр в относительно высокой степени проникал на периферию, для того чтобы мобилизовать ресурсы, упрочить ее приверженность центру и идентификацию с ним и чтобы контролировать те виды деятельности, которые охватывали все общество», — писал Шмуэль Эйзенштадт (Eisenstadt 1999: 177). Однако такая централизация власти вступала в сложное динамичное противоречие с повышенным разнообразием периферии. Любой процесс в России протекает как принципиально асинхронный, что способствует сосуществованию разных принципов регуляции и возникновения непрозрачных для правовой регуляции сфер социальной самоорганизации — корпоративных, клановых, локальных, теневых.

В постсоветской России отдельные части и функции системы государственного управления были присвоены элитными группами и корпорациями как государственными по статусу, так и формально частными, но контролируемые государством, что в условиях слабых институтов привело не только к непубличности, непрозрачности и рассогласованности деятельности органов власти и управления, но и к постоянным конфликтам — внутриведомственным и межведомственным. Механизм функционирования российского государства может рассматриваться как сетевое объединение корпораций с неформальными связями и договоренностями, внутренними неофициальными нормами («понятиями») и лояльностями (Petrov 2012: 306–307). Сложившийся в этих условиях «режим ручного управления» состоит в реализации властных решений либо вне установленных норм и процедур, либо в условиях их произвольного переписывания, что отражает возможность власти выступать в качестве своеобразного переключателя режимов регуляции.

Одним из проявлений такого переключения являются попытки избирательной административной регуляции тех процессов, которые должны регулироваться в рыночной логике и наоборот. Рост коррупции в такой системе регуляции неизбежен и основывается на сочетании противоречивости и неустойчивости норм закона с различными неофициальными нормативными комплексами, регулируемыми, например, практики реализации власти, профессиональное и непрофессиональное поведение групп, причастных к органам власти, госкорпорациям и т. п., а также с неформальными правилами безнаказанного нарушения законодательства и подрывающими принцип равенства перед законом. Ситуация усложняется существованием неформальных норм и договоренностей, регулирующих теневые отношения, а также возрождением нормативных комплексов, характерных для некоторых религиозно-этнических традиций.

Следует признать вполне работающим в объяснении российского правового порядка тезис о том, что основной конфликт, который на протяжении достаточно длительного по историческим меркам времени воспроизводился в условиях российского общества, состоял в необходимости примирения систематизирующего и рационализирующего духа права с характерным для российской ситуации релятивизмом критериев и ценностей, задающимся гетерогенностью и гибридностью

российского общества (Mogilner 2013). В характерной ситуации динамичного и неупорядоченного разнообразия различных социокультурных контекстов политические действия и идеи порождали множественный эффект и непреднамеренные последствия, определяемые конкретными обстоятельствами, субкультурами или локальным знанием (в гирцевском понимании). Поэтому власть, интегрируя лишь отчасти совместимые социокультурные пространства, принимала на себя роль «переключателя» контекстов, задающих разные смыслы и модусы мышления, самоопределения и деятельности (Mogilner 2017).

Эта черта имеет довольно длительную ретроспективу и сохраняет некоторые признаки характерного для дореволюционной и советской России имперского правового режима, который Джейн Бербанк описывает как «режим коллективных прав», предполагавший сосуществование различных групп и слоев населения, регуляция жизни которых основывалась на противоречащих друг другу нормативно-правовых режимах. Возникновение и сосуществование таких режимов отражало гибкий имперский подход к управлению разнородным обществом, который предполагал, в том числе, создание норм в результате специальных договоренностей центральной власти с территориальными образованиями или элитными группами (Burbank 2006: 397–431). Такая ситуация в российских условиях не только затрудняла укрепление общих правовых оснований, но и поддерживала потребность в обосновании внеправовых оснований власти, воплощающей имперский универсализм.

Внеправовое утверждение оснований власти имеет исторические предпосылки и нашло свое выражение как в институциональной сфере, так и в общественной мысли. Первое связано с воспроизводством на протяжении нескольких столетий двух параллельных типов высших органов управления. Наряду с исполнительными органами, представленными правительством и специализированными министерствами (а ранее – коллегиями и еще ранее – приказами) существовали неспециализированные органы с размытыми полномочиями, такие как администрация Президента РФ – в современной России, ЦК КПСС – в СССР, Собственная Его Императорского Величества канцелярия (или ранее – императорский двор, а еще ранее – государев двор). Сфера полномочий органов второго типа не ограничена, поскольку они действуют от имени высшего носителя власти, наделенного чертами самодержавности (Pivovarov 2006: 21–22). Что касается обоснования внеправовых оснований власти в истории русской мысли, то Петр Казанский в начале XX в. указывал на невозможность дать самодержавной власти российских императоров «чисто юридическую конструкцию, как, положим, векселю или чеку», поскольку полновластное и единовластное самодержавие, принципиально отличается от западного абсолютизма тем, что власть российского самодержавца связана не юридически, а исторически и определяется «народным правосознанием», в пределах которого она «может и должна почитать себя свободной» (Kazansky 1913: XIII–XV). Здесь проявляется характерное для русского консерватизма представление о самодержавном характере власти, стоящей над правом и законом. Отдельные элементы этого представления воспроизводились в советский период и характерны

для современных дискурсов, оправдывающих российскую власть в логике, освобожденной от конституционно-правовых определений.

Вопрос об основаниях власти, ее пределах и границах в российской практике определяется, таким образом, различными стратегиями рационализации, среди которых конституционно-правовой дискурс не является единственным. Альтернативой ему оказывается сакрализация оснований власти, некоторые признаки которой сохраняются и в современной России, включая ее закрытость, удаленность, таинственность и неподконтрольность. Одним из проявлений сакрализации власти является непреодолимая дистанция между властью и обществом, которая характерна для России не столько в географическом и социально-политическом, сколько в культурно-смысловом плане. Удаленность власти придает ей метафизические и даже мистические черты, как бы вынося ее основания за пределы социума (Pivovarov & Fursov 2001: 37–48), что актуализирует обращение к религии в обосновании власти и проявляется в характерных дискурсах духовности.

Вера в отношениях права и власти: религиозные предпосылки и дискурс духовности

Современный идеал правового государства формировался в результате длительных процессов секуляризации и рационализации культуры и общественной жизни. Этот процесс характеризуется не только распадом традиционных жизненных форм, но и рациональной рефлексией традиций, которые освобождались от ограниченных контекстов и интегрировались в сбалансированные институциональные системы, уравнивающие основания права, власти и веры в архитектонике современных обществ. Юрген Хабермас, обосновывая секулярную идею права из её собственной рациональности в мюнхенском диалоге с кардиналом Йозефом Ратцингером, признавал влияние религиозных постулатов на утверждение дополитических основ правового государства. Он, в частности, высказал идею, что такие нормативные кластеры понятий, как ответственность, автономия и оправдание, история и воспоминание, инновации и возвращение, эмансипация и исполнение, освобождение, осознание и воплощение, индивидуальность и общность, стали результатом своеобразного «перевода» – опыта секулярного освобождения религиозно замкнутого потенциала значений, который разворачивался за пределами религиозного сообщества и становился достоянием инаковерующих и неверующих (Habermas & Ratzinger 2006: 67–68).

Осуществление такого секулярного «перевода» религиозного потенциала значений существенным образом определяется взаимодействием сакрального и профанного, которое сохраняет свое влияние и в современной культуре. Например, в анализе соотношения сакрального и профанного в обосновании права, власти и их взаимодействия интерес представляет предпринятая Арнольдом Тойнби классификация религий на основании соотношения веры в божественный закон или во всемогущее божество. По его мнению, эволюция западного христианства привела к укреплению веры в вездесущий закон (Toynbee 1939: 16–21). Это способствовало утверждению универсализма, в том числе в представлениях о праве, согласно которым его фундаментальные нормы и принципы, как, например, основные права и

свободы, включая не только право на жизнь, свободу и безопасность, но и на справедливое судебное разбирательство, свободу слова и ассоциаций, должны пользоваться всеобщим признанием во всех правовых системах (Benkhabib 2003: 31–33). Утверждение принципа универсализма в отношении права Питирим Сорокин связывал с сакральными основаниями, позволявшими создавать законодательные своды, не имеющие прямой чувственной утилитарности. В этой логике «любое нарушение абсолютной нормы требует защиты самой нормы и не может обойтись без искупления совершенного греха» (Sorokin 1992: 495). Вместе с тем, как писал Гарольд Берман, современный кризис права, отрывающегося от своих религиозных предпосылок, выражается в том, что оно становится более утилитарным, фрагментированным и чаще воспринимается в незападных культурах не как «естественное», а как исключительно «западное» (Berman 1998: 51–53).

В силу разных причин, в культуре, связанной с русской православной традицией, происходило сближение светской и религиозной власти и концентрация признаков сакральности в едином центре. Поэтому сакральность приписывалась преимущественно власти, а не праву (Akhiezer, Klyamkin & Yakovenko 2005: 80–85, 88–89, 93), что способствовало существенному влиянию силовых линий власти на нормативно-правовую регуляцию общества, в котором различные сферы и группы могли ориентироваться на разнородные принципы. Реализация принципа равенства перед законом, который в некоторые периоды российской истории распространялся не на все общество или провозглашался, но нарушался в конкретных ситуациях или применительно к конкретным лицам или социальным группам, – лишь один из аспектов проявления этой черты.

Объяснение причин сохраняющихся тенденций сакрализации власти при слабости ценностей права с точки зрения способов разрешения напряженности между сакральным и профанным возможно на основе обращения к концепции общественных преобразований Шмуэля Эйзенштадта. Развивая тезис Макса Вебера о способах разрешения напряженности между мирским и сакральным путем рационализации целенаправленных длительных усилий, отражающих проблематику спасения (в духовно-религиозном смысле), он исходил из трех основных факторов, определяющих такие способы в различных обществах (Eisenstadt 1999: 204–210). Это, во-первых, характер переплетения или обособления «очагов спасения», ориентированных на «посюсторонний» или «потусторонний» миры. Речь идет об «очагах» доступа к сакральным смыслам, которые связывают представления о спасении либо с определенными видами социальной деятельности (например, характерное для Макса Вебера рассмотрение профессиональной деятельности как призвания (Weber 2006: 43–51) или его же концепция рассмотрения протестантской этики как основания целерациональной предпринимательской деятельности), либо с разнообразными аскетическими практиками освобождения от мирских привязанностей (отшельничество или монашество). Во-вторых, степень институционального закрепления «посюсторонних очагов спасения» в институционализации видов деятельности, способствующих разрешению напряженности между мирским и сакральным. И в-третьих, соотношение между

важнейшими «атрибутами и очагами спасения», с одной стороны, и возможностями доступа к ним основных социальных групп – с другой.

Применение Эйзенштадтом этой концепции к анализу трансформации российского общества (Eisenstadt 1999: 173–177; 280–282) позволяет сделать ряд выводов. В России, по его мнению, сформировалась высокая символическая проработанность между мирскими и сакральными порядками, однако институционализация видов деятельности, связанных с «посюсторонними очагами спасения», оставалась слабой, что привело к заметному торможению развития рынков и дефициту ресурсов в тех сферах, которые не были связаны с «очагами спасения». Относительно высокая степень подчинения культурного порядка политическому и относительно низкая степень автономного доступа основных социальных слоев к политической деятельности вела к разобщенности между различными группами, включая элиты, что требовало избыточной централизации власти, основывающейся на концентрации символического ресурса, жестких мерах принудительного характера и блокировании возможностей периферийных групп в создании широких коалиций и влияния на центр. Высокая проработанность напряженности между мирскими и сакральными порядками при разрыве между ними в институциональной сфере способствовала не только концентрации признаков сакральности в центре, но и развитию в российской культуре многообразных представлений о должном, которые, однако, были «потусторонне ориентированы» и за редким исключением отделены от политической и экономической активности.

Характерные для российской культуры разрывы между должным и сущим отражаются и в сфере права: ориентированные на идеалы должного представления о праве и справедливости воспринимаются как «потусторонние» и не относящиеся к реальной действительности. Эта особенность находит свое двойное проявление в сочетании законотворческого волюнтаризма и правового нигилизма. Еще в дореволюционный период наблюдались, с одной стороны, приверженность русской философской мысли этикоцентризму и абсолютизации нравственного подхода, по отношению к которым правосознание оказывалось вторичным (Soloviev 1991: 230–234), а с другой, – тенденция формальной регламентации тех отношений, которые могли бы основываться на неформальных нормативных комплексах, в том числе профессиональной этике. Богдан Кистяковский в сборнике «Вехи» (1909 г.) рассуждал о необходимости преодоления разрывов между сложившимися неформальными нормами и нормами закона, указывая, что «тенденция к подробной регламентации и регулированию всех общественных отношений писанными законами присуща полицейскому государству, и она составляет отличительный признак его в противоположность государству правовому» (Kistyakovsky 1991: 125–126). В современной России законотворческий процесс далеко не всегда учитывает сложившиеся неформальные нормы, включая профессиональную этику, в некоторых случаях он представляет собой произвольное творение законодателя, вступающее в противоречие с реальными жизненными процессами.

Несмотря на то, что господствовавшая в советском обществе идеология требовала возведения атеизма в ранг государственной политики, характерное

соотношение сакрального и профанного проявило себя в присущей советскому обществу идеократии, в которой коммунистическая идеология по целому ряду признаков сближается с религией (Ryklin 2009). Ее структура и содержание складывались на основе принципов, присущих незападным обществам, включая сакрализацию фигур основоположников (учителя и основателя), сакрализованного учения, включающего догматику, сопровождающуюся обширными комментариями и интерпретациями, а также партию как организатора системы духовного производства, утверждающего единообразную культуру (Yerasov 2002: 439). В новых условиях, таким образом, воспроизводилась тенденция (псевдо)сакрализации власти и ее персонификаторов, что снижало роль права, а морально-нравственную сферу подчиняло господствовавшей идеологии.

Однако советское наследие включало не только указанные черты идеократии, но и результаты советского варианта модернизации, предполагавшей создание индустриальной экономики, урбанизацию и развитие городской культуры, всеобщее образование, обеспечение определенного уровня жизни и социальных гарантий, распространение универсальных ценностей, связанных с наследием эпохи Просвещения и языком идеологического противостояния в биполярном мире, в котором обе стороны апеллировали к общим ценностям, включая ценности демократии и прав человека. Необходимость конкуренции с Западом, в том числе, в сфере обеспечения фундаментальных прав и свобод, способствовала интеграции соответствующих идеалов и ценностей в риторику и практику советского образа жизни, хотя и с существенными оговорками и ограничениями. В отличие от советского антизападнического дискурса, современное российское антизападничество в значительной мере основывается не на альтернативном понимании ценностей и достижений модерности, а на антимодерной апелляции к традиции и дискурсу духовности. Разумеется, эта апелляция связана не столько с полноценным обращением к религиозной традиции, содержащей в себе разнообразные возможности обоснования власти и права, в том числе и правовых ограничений власти, сколько с вполне прагматичным использованием ее политико-идеологических проекций.

Поскольку апелляция власти к религиозной традиции является продуктом возникшего после распада советского проекта индустриальной модерности «сырьевого капитализма», в котором политическая стабилизация важнее развития, современный дискурс духовности представляет собой идеологическое выражение антимодернистского консенсуса. Ориентация на «традиционные ценности» прямо или косвенно противопоставляется ценностям фундаментальных прав и свобод и принципам правового государства как привнесенным с «чуждого Запада». Любопытно, что в отстаивании «традиционных ценностей» и защите их от западного влияния представители российского духовенства используют преимущественно не религиозные, а политические аргументы, способствуя тем самым «нерелигиозному восприятию религии» (Filatov 2007: 22–23). Современный дискурс духовности выражает, таким образом, наиболее очевидную идеологическую альтернативу идеалу правового государства в условиях необходимости компенсации размывания

универсальной морали и воспроизводит новую версию патернализма, ведущего к консервации сложившегося status quo.

Власть и регуляция теневых сфер

Система интеграции и дифференциации советского общества отличалась высокой концентрацией идеологической, политической и экономической власти в руках аппарата управления, стремившегося контролировать все сферы общественной активности, включая сферу коммунистической морали. Однако, по мнению Йохана Арнасона (Arnason 1993), реальная дифференциация советского общества, определявшая его интересы и не контролируемая практиками централизованного планирования, привела к сочетанию плановой экономики с неформальными и теневыми экономическими отношениями. Внутренние противоречия в регуляции советского общества, как показал Арнасон, проявлялись также в трансформации харизматичного господства в более рационализированный олигархический режим позднесоветского общества и в попытках примирения догматизированной идеологии, возведенной в ранг «политической религии» с реалиями общественной динамики и развития науки (Arnason 2000: 61–90).

Система регуляции, основанная на идеологическом давлении и имитации демократических процедур, в поздний советский период становилась всё менее эффективной. Нарастала тенденция расширения сетей неформальных обменных связей и теневых отношений, развития теневых рынков, через которые перераспределялась возрастающая часть государственных ресурсов (Naishul 2007: 53–58), нелегальных или полулегальных форм спекуляции, блата (Gudkov & Dubin 2002) и неформального обмена (Ledeneva 1998: 83), компенсировавших функциональную недостаточность плановой экономики. В этих условиях теневого перераспределения происходит размывание нормативной структуры регуляции, в которой значительная роль отводится неофициальным формальным правилам и неформальным правилам, позволяющим обходить формальные ограничения.

Теневые криминальные практики, как правило, компактны, они касаются лишь отдельных процессов обращения теневых ресурсов. Но особенности регуляции советского общества, где аппараты власти не были отделены от проявлений общественной активности, состояли в том, что она осуществлялась посредством языка официальной идеологии, отклонение от которого было недопустимым. Борис Гройс обращает внимание на амбивалентный характер языка в марксистско-ленинском учении: с одной стороны, господствующий язык определялся как язык господствующего класса, а с другой, идея, которая овладевает массами посредством языка, становится материальной силой (Groys 2007: 14–15). Поэтому уход в тень в этих условиях — это прежде всего уход от того официального дискурса, который поддерживал систему общественных отношений. В этих условиях теневые отношения затрагивали различные сферы социальности – не только криминальные и не только экономические, этот процесс принимал значительные масштабы, проявляясь в таком характерном феномене, как «двоемыслие».

Разворачивание рыночных отношений в постсоветской России происходило поверх уже сложившихся теневых структур, а укрепление вертикали власти осуществлялось вне развития гражданской солидарности. В 1990-е годы значительные пласты социальных взаимодействий оставались непроницаемыми для правовых регуляторов. Глубокий экономический спад способствовал широкому распространению практик теневой самоорганизации, натурализации хозяйств, бартера и «черного нала», что вело к непрозрачности значительной части экономических отношений и, соответственно, к развитию внеправовых механизмов регуляции этих сфер – криминальных, клановых, теневых.

Переход от административной экономики к рыночной, таким образом, не был связан с созданием устойчивых процедур публичного согласования интересов различных социальных групп (бизнеса и власти, производителей и потребителей, работодателей и работников). В этом контексте вполне оправданно звучат опасения, высказанные Юргеном Хабермасом по поводу сокращения пространства общественной легитимации под влиянием интервенции рынков в те сферы, которые ранее поддерживались либо политически, либо через дополитические формы коммуникации (Habermas & Ratzinger 2006: 58–59). Поскольку рынки, в отличие от органов власти, невозможно демократизировать возникает опасность переориентации социального действия на разрозненные частные интересы в публичной политике, гражданской активности и других сферах, требующих укрепления правовых процедур репрезентации и согласования интересов. В современной России рыночные отношения, строящиеся на доверии, замещаются редистрибутивными отношениями «раздаточной экономики», ограничивающей потребность в автономных общественных институтах и инициативных взаимодействиях, что отражает необходимость адаптации к сырьевой нише глобального постиндустриального капитализма (Mart'yanov 2014: 84–87) и востребованность описанной Юрием Левадой модели «советского простого человека» с присущими ему двоемыслием, лукавством, демонстрационной лояльностью, пассивной адаптацией, которая корректируется под влиянием традиционализма и ксенофобии (Levada 2000: 4–24). Одной из существенных проблем является практика возведения на уровень законодательства норм, поддерживающих функционирование теневых сфер, что отражается в феномене так называемого «теневого права» (Baranov 2002).

Правосознание укрепляется прежде всего в процессах согласования публично артикулируемых интересов. После распада СССР идеологизированные представления об общих интересах утратили значимость, а публичные и устойчивые процедуры легитимации и интеграции частных интересов не сложились. Последовавшая затем симуляция общего интереса на основании вытеснения одних частных интересов другими привела к ухудшению не только правосознания и правовой культуры, но и морально-нравственного климата. Современное российское общество характеризуется размыванием публичной сферы, в которой происходит манипуляция интересами, а медийное конструирование общественных интересов осуществляется без репрезентативной дискуссии и часто прикрывает под видом общих интересов реализацию интересов элитных групп. Следует согласиться с теми исследователями,

которые утверждают, что в постсоветский период российская государственность как система устойчивых институтов, стоящих над группами интересов, не сложилась, а её функции частично подменяются «приватизированными» административный ресурс кланами (Petrov & Ryabov 2007: 67).

В условиях неэффективного обеспечения политического представительства и отсутствия институциональных возможностей согласования и интеграции интересов различных социальных групп основным инструментом консолидации власти является административный ресурс и прямая сила, что требует активизации дискурса внешних и внутренних угроз. Несмотря на заметные успехи в попытках представить государство в привычной для обывателя роли защитника от таких угроз, стратегия милитаристской мобилизации общества продемонстрировала свою ограниченность. Советские стереотипы мобилизации, дававшие свои плоды уже в позднесоветский период, не могут быть эффективными в более дифференцированном обществе, которое к тому же переориентировано на потребительский идеал. Воспроизводство наиболее устойчивых элементов мобилизационного мифа, включая конструирование образа врага, происходит в характерных для общества потребления жанрах, обеспечивающих привлечение внимания современного потребителя.

Снижение в этих условиях спроса на правовые процедуры согласования интересов компенсируется спросом на институты имитационного типа, что сопровождается характерной инструментализацией установленных норм, которые утрачивают устойчивость во времени (избирательное законодательство, например, переписывается в каждом электоральном цикле). Спрос на имитационные институты формируется характерным стремлением властвующей элиты к освобождению от конкурентного давления со стороны оппозиции и различных групп интересов.

Отказ от действительной реализации принципов правового государства в этих условиях объясняется вполне рациональными стремлениями основных игроков обеспечить теневой характер воспроизводства власти при необходимости соблюдения интересов основных элитных групп.

Рациональные основания имеет также процесс поддержания нелегитимного или полуполитического статуса ключевых акторов, которые реально или потенциально могли бы участвовать в политической конкуренции или в системе государственного управления. Это следствие не столько низкой правовой культуры, сколько раскола между декларируемыми нормами и реальными практиками. В результате система государственного управления сталкивается с дефицитом рациональной легитимации, поэтому среди факторов, определяющих слабость оснований права, возрастает роль иррациональных дополитических пластов культуры, истоки которых действительно можно отыскать в российской традиции.

Иррациональное понимание власти в постсоветской России коррелирует с процессами, происходящими в обществе. Трансформация политической сферы блокирует гражданскую самоорганизацию на локальном уровне, где она утрачивает смысл в силу фрагментированности и неспособности к интеграции в более широких масштабах. Реальный процесс принятия политических решений происходит вне сферы публичной политики, которая насыщается разного рода отвлекающими

внимание симулякрами. В условиях экономического роста первого десятилетия XXI в. такое положение не создавало существенных проблем, однако перед более серьезными вызовами неэффективность сложившейся системы становится очевидной для значительной части общества.

В основании правового государства лежит идея рациональной легитимности, основанная на апелляции к разуму как ключевому конструкту философии и культуры модерности. Однако рационализация иррационального может быть опасной, особенно когда правовая рационализация основывается на таких конструктах, как «большинство», «национальные интересы», «угрозы безопасности», «борьба с политическим экстремизмом», содержание которых обретает конкретные очертания ситуативно и по произволу субъекта власти. В любом из этих случаев возможна подмена понятий, которая ухудшает качество законодательства, если законодатель исходит из подобных конструктов.

Поэтому для обоснования рациональных основ легитимности необходимо решение проблемы реального представительства всё более дифференцирующегося общества в публичной политике и представительных органах власти. Необходимость построения эффективных процедур артикуляции и согласования интересов определяется тем, что потенциал внеправовых инструментов интеграции общества требует возрастающих затрат на сдерживание политической конкуренции и протестных настроений.

Заключение

Взаимоотношения права, власти и веры в современном российском обществе обусловлены как особенностями институционального устройства, определяющими характер постсоветской трансформации, так и длительными процессами развития российской государственности, включая советский период.

В процессе институциональных трансформаций второй половины 1980-х и в 1990-е годы были сделаны попытки продвинуться в реализации принципов правового государства, включая защиту фундаментальных прав и свобод, разделения властей, обеспечения независимости судебной системы. Однако институциональные провалы и снижение уровня жизни стали существенными ограничителями этой тенденции. Одновременно происходила трансформация характерных для российской традиции внеправовых практик регуляции общества. Сочетание противоречивых тенденций в понимании права и законности в современной России связано с разнообразием оснований регуляции различных сегментов российского общества, в том числе, включающих противоречивые принципы нормативно-правовой регуляции и так называемого «режима ручного управления».

Если в системе государственного управления в последние годы наблюдается целый ряд признаков отхода от принципов правового государства, то в российском обществе сохраняется запрос на защиту прав и свобод человека и гражданина, подконтрольность власти обществу, прозрачность и устойчивость институциональных процедур формирования и реализации государственной политики. Этот запрос явно

или не всегда явно присутствует в общественных конфликтах, порождающих протестные настроения, однако слабо проявляется в устойчивых публичных дискурсах, артикулирующих ценности правового государства.

Разновекторные процессы, отражающие сложность траектории продвижения современного российского общества к правовому государству, связаны с сочетанием адаптации наследия советской модернизации к новым условиям с тенденциями демодернизации и отката к домодерным стереотипам, проявляющимся, в том числе в институциональной архаизации и девальвации ценностей права. Однако наследие предыдущих периодов модернизации российского общества, как можно полагать, создает пределы откатного движения и формирует запрос на продвижение к правовому государству. Если российское общество начала XX в. вряд ли можно назвать модернизированным, то, как пишет Борис Миронов, в советский период Россия по целому ряду критериев «стала принадлежать к пространству модернистской культуры, а не развивающихся стран», даже несмотря на то, что «формула советской модернизации сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе традиционных социальных институтов» (Mironov 2003: 333). Противоречивый характер постсоветской трансформации российского общества связанный как с новыми волнами модернизации, так и процессами демодернизации, проявляется в имитационном характере институтов власти, что характерно для функционирования таких институтов в обществе, в котором представления о праве и законности уже закрепились, а основанный на них общественный порядок не сложился (Akhiezer, Klyamkin & Yakovenko 2005: 658).

Указанные противоречия сохраняют различные возможности в дальнейшей трансформации российского общества, в котором антимодерный консервативный консенсус, апеллирующий к соответствующему варианту интерпретации духовно-религиозного наследия, блокирует не только продвижение к правовому государству, но и экономическое развитие. Его поддержание становится все более проблематичным, что проявляется в возрастающих протестных настроениях. Однако вопрос о том, возникнет ли устойчивая связь между протестными настроениями и требованием продвижения к правовому государству, остается открытым.

Библиография:

- Akhiezer, Alexander, Klyamkin, Igor & Yakovenko, Igor. (2005). *Istoriya Rossii: konets ili novoye nachalo?* [from Rus.: History of Russia: End or New Beginning?]. Moskva: Novoye izdatel'stvo.
- Arnason, Johann. (1993). *The future that failed: Origins and destinies of the Soviet model*. L.: Routledge.
- Arnason, Johann. (2000). Communism and modernity. *Daedalus*. 129(1): 61–90.
- Aron, Leon. (2017). *Dorogi k Khramu: Istina, pamyat', idei i idealy rossiyskoy revolyutsii 1987–1991* [from Rus.: Roads to the Temple: Truth, Memory, Ideas and Ideals of the Russian Revolution 1987–1991]. Moskva: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy.
- Baranov, Vladimir. (2002). *Tenevoye parvo* [from Rus.: Shadow law]. N. Novgorod: Nizhegorodskaya Akademiya MVD Rossii.
- Benkhabib, Seyla. (2003). *Prityazaniya kul'tury. Ravenstvo i raznoobraziye v global'nyu eru* [from Rus.: The claims of culture. Equality and Diversity in a Global Era]. Moskva: Logos.
- Berman, Harold. (1998). *Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya* [from Rus.: Western tradition of law: the era of formation]. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.
- Berman, Harold. (2008). *Vera i zakon: primireniye prava i religii*. [from Rus.: Faith and Law: Reconciliation of Law and Religion]. Moskva: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy.
- Bessonova, Olga. (2006). *Razdatochnaya ekonomika Rossii: Evolyutsiya cherez transformatsii* [from Rus.: Distribution Economy of Russia: Evolution through Transformation]. Moskva: ROSSPEN.
- Braslavsky, Ruslan. (2010). *Sotsiologicheskiye modeli sovremennogo rossiyskogo obshchestva: ot global'noy modernizatsii k global'noy modernosti* [from Rus.: Sociological models of modern Russian society: from global modernization to global modernity]. *Peterburgskaya sotsiologiya segodnya* [from Rus.: St. Petersburg sociology today] 1: 7–29.
- Burbank, Jane. (2006). An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 7(3): 397–431.
- Eisenstadt, Shmuel. (1999). *Revolutsiya i preobrazovaniye obshchestv. Sravnitel'noye izucheniye tsivilizatsiy* [from Rus.: Revolution and transformation of societies. Comparative study of civilizations]. Moskva: Aspekt Press.
- Filatov, Sergey. (2007). *Traditsionnyye religii, «russkaya tsivilizatsiya» i suverennaya demokratiya* [from Rus.: Traditional religions, "Russian civilization" and sovereign democracy]. *Religiya i konflikt* [from Rus.: Religion and conflict]. Moskva: ROSSPEN, 15–46.
- Gorbachev, Mikhail. (1988). *Perestroyka i novoye myshleniye dlya nashey strany i dlya vsego mira* [from Rus.: Perestroika and new thinking for our country and the world]. Moskva: Politizdat.
- Groys, Boris (2007). *Kommunisticheskiy postskriptum* [from Rus.: Communist postscript]. Moskva: Ad Marginem.
- Gudkov, Lev & Dubin, Boris (2002). «Nuzhnyye znakomstva»: osobennosti sotsial'noy organizatsii v usloviyakh institutsional'nykh defitsitov [from Rus.: "Necessary acquaintances": features of social organization in conditions of institutional deficits]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya* [from Rus.: Monitoring of public opinion] 3(59): 24–39.
- Gudkov, Lev & Dubin, Boris. (2007). *Posttotalitarnyy sindrom: «upravlyayemaya demokratiya» i apatiya mass* [from Rus.: Post-totalitarian syndrome: "controlled democracy" and the apathy of the masses]. *Puti rossiyskogo postkommunizma: Ocherki* [from Rus.: Ways of Russian post-communism: Essays]. Moskva: Izdel'stvo R. Elinina, 8–63.
- Gurvich, Georgiy. (2004). *Filosofiya i sotsiologiya prava: Izbrannyye sochineniya* [from Rus.: Philosophy and Sociology of Law: Selected Works]. Sankt-Peterburg: Izdatel'skiy Dom Sankt-Peterburgskogo

- gosudarstvennogo universiteta; Izdatel'stvo yuridicheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Habermas, Jurgen & Ratzinger, Joseph (Benedict XVI). (2006). *Dialektika sekulyarizatsii. O razume i religii* [from Rus.: Dialectics of secularization. About reason and religion]. Moskva: Bibleysko-bogoslovskiy institut svyatogo apostola Andreyana.
- Hale, Henry (2005). Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia. *World Politics* 58(1): 133–165.
- Kazansky, Peter. (1913). *Vlast' Vserossiyskogo Imperatora. Ocherki deystvuyushchego russkogo prava* [from Rus.: The Power of the All-Russian Emperor. Essays on the current Russian law]. Odessa: Tipografiya «Tekhnik».
- Kistyakovskiy, Bogdan. (1991). V zashchitu prava (intelligentsiya i pravosoznaniye) [from Rus.: In defense of law (intelligentsia and legal consciousness)]. *Vekhi: Intelligentsiya v Rossii. Sborniki statey 1909–1910 gg.* [from Rus.: Milestones: Intelligentsia in Russia. Collections of articles 1909–1910]. Moskva: Molodaya gvardiya, 109–135.
- Ledeneva, Alena. (1998). *Russia's Economy of Favors: Blut, Networking and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levada, Yuriy. (2000). Homo Post-Soveticus [from Rus.: Homo Post-Soveticus]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'* [from Rus.: Social Sciences and Modernity] 6: 5–24.
- Lukasheva, Yelena. (2013). *Chelovek, pravo, tsivilizatsii: normativno-tsennostnoye izmereniye* [from Rus.: Human being, law, civilizations: normative-value dimension]. Moskva: Norma.
- Mal'tsev, Gennadiy. (2008). *Nravstvennyye osnovaniya prava* [from Rus.: Moral foundations of law]. Moskva: SGU.
- Mart'yanov, Viktor. (2014). Global'nyy Modern, postmaterial'nyye tsennosti i periferiynyy kapitalizm v Rossii [from Rus.: Global Modern, post-material values and peripheral capitalism in Russia]. *Politicheskiye issledovaniya* [from Rus.: Political Studies] 1: 84–87.
- Matuzov, Nikolay & Ushanova, Natal'ya. (2010) *Vozmozhnost' i deystvitel'nost' v rossiyskoy pravovoy sisteme* [from Rus.: Possibility and Reality in the Russian Legal System]. Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya akademiya prava.
- Mironov, Boris. (2003). *Sotsial'naya istoriya Rossii perioda imperii (XVIII – nachalo XX v.)*. [from Rus.: Social history of Russia during the period of the Empire (XVIII – early XX centuries). In 2 volumes. Vol. II.. Sankt-Peterburg: Dmitriy Bulanin.
- Mogilner, Marina. (2013). *Homo Imperii: A History of Physical Anthropology in Russia*. Lincoln; London: University of Nebraska Press.
- Mogilner, Marina. (2017). Prirozhdennyy prestupnik v imperii: atavizm, perezhitki, bessoznatel'nyye instinkty i sud'by rossiyskoy imperskoy modernosti [from Rus.: A natural criminal in an empire: atavism, remnants, unconscious instincts and the fate of Russian imperial modernity]. *Novoe literaturnoye obozreniye* [from Rus.: New literary review] 2: 318–341.
- Naishul, Vitaliy. (2007). Ekonomika razvitoogo sotsializma: administrativnyy rynek, zastoy i nef't'. Interv'yu s Vitaliyem Nayshulem [from Rus.: The Economics of Developed Socialism: Administrative Market, Stagnation and Oil. Interview with Vitaliy Nayshul]. *Neprikosnovennyy zapas: debaty o politike i kul'ture* [from Rus.: Emergency Reserve: Debates on Politics and Culture] 2(52): 53–58.
- Neretina, Svetlana. (2013). O ponyatiyakh gosudarstva, upravleniya i obshchestva [from Rus.: On the concepts of state, government and society]. *Gosudarstvo. Obshchestvo. Upravleniye* [from Rus.: State. Society. Administration]. Moskva: Al'pina Publisher, 125–145.
- North, Douglas. (1997). *Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki* [from Rus.: Institutions, institutional change and economic performance]. Moskva: Nachala.

- Nureyev, Rustem & Runov, Anton. (2002). Rossiya: neizbezhna li deprivatizatsiya? (Fenomen vlasti–sobstvennosti v istoricheskoy perspektive) [from Rus.: Russia: Is Deprivatization Inevitable? (The phenomenon of power-property in a historical perspective)]. *Voprosy ekonomiki* [from Rus.: Problems of Economics] 6: 10–31.
- Petrov, Nikolay & Ryabov, Andrey. (2007). Vnutrenniye problemy vlasti [from Rus.: Internal problems of power] *Puti rossiyskogo postkommunizma: Ocherki* [from Rus.: Ways of Russian post-communism: Essays]. Moskva: Izdel'stvo R. Elinina, 64–98.
- Petrov, Nikolay. (2012). Obiliye slabogo gosudarstva [from Rus.: The abundance of a weak state]. *Rossiya-2020: Stsenarii razvitiya* [from Rus.: Russia 2020: Development Scenarios]. Moskva: ROSSPEN, 299–321.
- Pivovarov, Yuri & Fursov, Andrey. (2001). «Russkaya Sistema» kak popytka ponimaniya russkoy istorii [from Rus.: "Russian System" as an attempt to understand Russian history]. *Politicheskiye issledovaniya* [from Rus.: Political studies] 4: 37–48.
- Pivovarov, Yuriy. (2006). *Russkaya politika v yeye istoricheskom i kul'turnom otnosheniyakh* [from Rus.: Russian politics in its historical and cultural dimensions]. Moskva: ROSSPEN.
- Radayev, Vadim & Shkaratan, Ovsey. (1996). *Sotsial'naya stratifikatsiya* [from Rus.: Social stratification]. Moskva: Aspekt Press.
- Rybakov, Oleg. (2020). *Strategii pravovogo razvitiya Rossii* [from Rus.: Strategies for the legal development of Russia]. Moskva: Yustitsiya.
- Ryklin, Mikhail. (2009). *Kommunizm kak religiya: Intellektualy i oktyabr'skaya revolyutsiya* [from Rus.: Communism as a Religion: The Intellectuals and the October Revolution]. Moskva: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Shkaratan, Ovsey. (2004). Etakratizm i rossiyskaya sotsiyetal'naya sistema [from Rus.: Etakratism and the Russian societal system]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'* [from Rus.: Social sciences and modernity] 4: 49–62.
- Soloviev Erich. (1991). *Proshloye tolkuyet nas: Ocherki po istorii filosofii i kul'tury* [from Rus.: The past interprets us: Essays on the history of philosophy and culture]. Moskva: Politizdat.
- Sorokin, Pitirim. (1992). *Chelovek. Tsvivilizatsiya. Obshchestvo*. [from Rus.: Human. Civilization. Society]. Moskva: Politizdat.
- Toynbee, Arnold. (1939). *A Study of History*, V. Oxford & N.Y: Oxford University Press.
- Volkov, Denis & Kolesnikov, Andrey. (2016). *Samoorganizatsiya grazhdanskogo obshchestva v Moskve. Motivy, vozmozhnosti i predely politizatsii* [from Rus.: Self-organization of civil society in Moscow. Motives, opportunities and limits of politicization]. Moskva: Moskovskiy tsentr Karnegi.
- Weber, Max. (2006). *Izbrannoye: Protestantskaya etika i dukh kapitalizma* [from Rus.: Selected: Protestant ethics and the spirit of capitalism]. Moskva: ROSSPEN.
- Yerasov, Boris. (2002). *Tsvivilizatsii: Universalii i samobytnost'* [from Rus.: Civilizations: Universals and Identity]. Moskva: Nauka.
- Zaostrovtshev, Andrey (2009). *Modernizatsiya i instituty: podkhody k kolichestvennomu izmeneniyu* [from Rus.: Modernization and Institutions: Approaches to Quantitative Change]. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Yevropeyskogo universiteta v Sankt-Peterburge.